

Михаил Бутов
ПО ТУ СТОРОНУ
КОЖИ



Лауреат премии «Русский Букер»

Михаил Владимирович Бутов

По ту сторону кожи (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6706956

Бутов, Михаил Владимирович По ту сторону кожи : повести, рассказы : АСТ; Москва; 2013

ISBN 978-5-17-077783-9

Аннотация

Михаил Бутов – прозаик, известный культуртрегер, составитель «Антологии джазовой поэзии», ведущий радиопередачи «Джазовый лексикон» (1997–2006). Его роман «Свобода» – «Букеровская премия» (1999) – был единодушно признан знаковой прозой нарождающегося столетия.

Новая книга «По ту сторону кожи» в известном смысле продолжает тему, обозначенную в романе: о судьбе и свободе выбора в переломные годы. Острые жизненные ситуации, заявленные в рассказах и повестях, постоянно вынуждают героев сомневаться, задумываться о том, что «кроется по ту сторону кожи», отвечать на «детские» вопросы...

Содержание

Астрономия насекомых	5
Известь	14
Памяти Севы, самоубийцы	38
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Михаил Бутов

По ту сторону кожи (сборник)

© Бутов М.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Астрономия насекомых

...место закрытое... оно лежит внизу невидимое, его вес неизмерим... и когда они были в недоумении от вопроса... на своем пути подошел к берегу реки, протянул свою правую руку и наполнил ее... и бросил... на... и тогда... вода... перед их глазами... принесся плоды... много...

Папирус Еджертона

Мы залезли на крышу, чтобы сниматься. А не для того – уж во всяком случае, не для того только, – чтобы битый час промерзать на таком ветру, холодном, хотя и август. И виновата во всем, естественно, Элка. Незачем ей было приглашать накануне своего молодого поклонника. То есть в гостях-то мы сидели у нее, и тут, ясное дело, хозяин – барин. Но ведь и компания у нас тесная, годами проверенная, никто из нас потребности в новых людях вроде бы давным-давно уже не испытывает. К тому же оказался ухажер не просто так – с подковыркой. Мы с Макаровым тихо обсуждали книгу Шкловского «Звезды» – забавлялись, в сущности, поскольку ни я, ни он в звездах ровным счетом ничего не смыслим, – так, заглянули интереса ради в ученый фолиант. А поклонник неожиданно возбудился. «Это же, – говорит, – просто космогонический диалог, настоящая платоновская традиция. Готовая передача – бери и снимай!» Так и выяснилось, что он не то репортером, не то журналистом на телевидении.

– А чего снимать-то? – спросил Макаров.

– Разговоры ваши снимать! – догадалась Элка. – Фиксировать для истории.

– Про звезды?!

– Да про что угодно, – размахивал руками репортер. – Не хотите о космосе – давайте о литературе. Можете?

– Эти все могут, – сказал Терентьев.

– Ради бога, хоть о музыке! Музыку любите? Только в таком же духе. Суть-то не в предмете, не в предмете... Для программы «Авторское телевидение». Согласны?

– Еще бы не согласны! – Элка уже на месте подпрыгивала. – Мне реклама знаете как нужна! Позарез!

– Не понимаю, – сказал Терентьев, – чем мы вам можем быть интересны? Мы далеки от общественной жизни. Мы песен, и то не поем. Ни хором, ни под гитару.

– Не понимает! – сказал репортер. – Вы что, не смотрите нашу программу?

– Да все как-то... – сказал Терентьев.

– Но телевизор вообще смотрите?

Терентьев совсем смешался.

– Это же в самом центре внимания сейчас. В противовес оголтелости политиков и бесстыжести торгашей. Простые люди, хранящие в наше безумное время внутреннее достоинство и искорку духа. Тихие подвижники. Нормальный человек в ненормальном мире.

– А, – сказал Терентьев.

– Да просто посидим поболтаем. Что-нибудь о жизни своей расскажете, о пристрастиях: эстетических там, философских... Потом я склею – пальчики облизешь!

Мы и согласились. Только вспомнили, что в Элкиной квартире (это, точнее, ее свекрови квартира) обстановочка завтра предполагается совсем неподходящая. Потому что за какой-то нуждой должны возвратиться с дачи сама свекровь и ее сын, безработный Элкин муж, спившийся на той почве, что не состоялся как некто высоколобый – не то лингвист, не то литературовед, и звереющий хотя и разнохарактерно, но в одинаковой степени и когда

выпьет, и когда почему-либо воздержится, так что мамаша от греха подальше удаляется с ним в деревню с апреля по ноябрь.

Но Элка тут же придумала выход:

– А мы на крышу, на крышу! Лестница на чердак как раз в нашем подъезде. Там замок есть, но это только для виду. Очень, кстати, модно сейчас, если интеллигенция в телевизоре проповедует с крыш!

Я думал было возразить, что себя-то к интеллигентам не причисляю: мне, например, даже воровать доводилось, – так что предпочел бы скверик какой-нибудь, с фонтаном или на худой конец с клумбой. Но остальным вроде понравилось, и я не стал вступать, поскольку остался бы все равно в меньшинстве.

И что теперь? Уже и в уши надуло так, что до ночи будешь обеспечен головной болью. И даже лавочки тут нет, чтобы можно было прижаться друг к другу, обменяться животным теплом. А единственное, чего, судя по всему, мы еще можем дожидаться, – дождя. Когда он начнется, отсюда мы, конечно, слезем. Но и это только с одной стороны победа. С другой же – каждый изобрел какой-нибудь серьезный предлог, когда уходил из дома, и теперь придется убивать время, потому что, если вернешься раньше срока, достоверность легенды окажется под сомнением и в следующий раз, чего доброго, тебя уже отслеживать начнут.

Элка здесь, оказывается, не впервые. У нее тут даже что-то вроде садика. Ящики фанерные – наверное, из магазина внизу, – а в них задыхается в каменной земле несвежая трава, кое-где уже совсем пожухлая. Нет ни цветов, ни растений, какие при благоприятных условиях могли бы ими стать. Элка утверждает, что в Европе у всех так. Мне почему-то кажется, что не совсем так, но неохота ее огорчать, поэтому в обсуждение этого вопроса мы не вступаем. Элка сидит и смотрит на свой газон. Сидит она на дощечке, а дощечка положена прямо на гудрон, которым крыша залита. Колени подтянула к подбородку. Терентьев чуть в стороне стоит и глядит вниз – все еще высматривает репортера. Вчера мы все ему объяснили и показали – он не мог заблудиться. Значит, попросту не поехал. Трепло. А говорил, что только за камерой забежит в обед на студию – и прямо сюда. Макаров сидит возле Элки на высоком, в треть человеческого роста, и довольно широком бетонном парапете, идущем по краю крыши, и тоже иногда вниз посматривает, при этом опасно перегибаясь, зависая над пропастью всей верхней половиной тела.

– Ты перестань сейчас же! – в который раз уже визжит Элка. – У меня мурашки по коже, когда ты так вывешиваешься!

Макаров поднимает вверх ноги и балансирует совсем уже на одной точке – правда, руки держит наготове, чтобы в случае чего за край удержаться. Тогда Элка валится набок, обхватывает его лодыжки и тянет обратно.

– Не смотри, – говорит Макаров.

– Все, прекрати. Стой нормально.

– Нормально – это как, по-твоему?

– А то тебе не ясно! Опершись жопой о гранит. А лучше вообще – сядь!

Макаров действительно сел, сильно подвинув Элку с дощечки на гудрон.

– У меня был приятель, – сказал он. – Упал однажды с пятого этажа. Пьяный был совершенно, не помнит, как падал. Причем не на кусты упал, даже не на травку – прямо на асфальт. И хоть бы что. Ну, синяков пара – ни сотрясений, ни переломов. Я так думаю, дело в том, что он легкий: худой, маленького роста. Когда летел, то за балконы, наверное, цеплялся, за подоконники – погасил скорость. Потому что легкий. Вот Терентьев бы, скажем, как бы ни хватался – было бы без толку.

– Это точно, – сказал Терентьев.

– А он, значит, ничего не помнит. Пьяный. Все думали, он умер или без сознания, а он, оказывается, как упал, так и заснул. А когда его в Склифосовского уже привезли, очу-

хался, ничего не понял и решил, что родственники наконец-то сдали его в дурдом. Вскочил с каталки и дал деру – как был, в одних носках. Домой возвращаться не стал, попил где-то еще дня три, а потом знакомого встретил. У того аж челюсть отвисла: ты же, говорит, из окна выпал, убили насмерть! Только тогда и узнал все про себя. И сам уже испугался, пошел в больницу. Врачи его посмотрели, конечно, пощупали, но особенного никакого интереса не проявили. Он возмущается: как же так, я же уникальный, наверное, случай?! А ему: да что ты, батенька! Смертный, мол, предел – это седьмой этаж. Вот если б ты с седьмого – тогда другое дело. А так – детский, мол, лепет.

– Здесь четырнадцатый, – говорит Терентьев.

Я уже приготовился порассуждать на этот счет. Но Элка вдруг сообщила:

– А у меня брата посадили. Двоюродного. Позавчера суд был. За убийство, между прочим.

– Пугаешь? – сказал Макаров.

– Бандит? – спросил Терентьев.

– Не-а. Просто от него жена ушла, и он потом долго жил совсем один. Рехнулся, наверное, от одиночества. С кем-то поругался на работе, взял нож и зарезал. У всех на глазах – прям по Камю. А мы с ним в детстве в солдатиков вместе играли. На даче...

– Доиграете, – сказал Терентьев. – Лет через пятнадцать. А с ума от одиночества никто не сходит. Одинокая жизнь ведет к самоуглублению и вплотную приближает к истине. Как отец троих детей, могу это утверждать со всей ответственностью.

– А теперь родственники того, зарезанного, – говорит Элка, – требуют пересмотра дела. И суд, кажется, пошел им навстречу. Так что его, наверное, все-таки расстреляют.

И мы погружаемся в приличное случаю молчание.

С Элкиной крыши только и видно что другие такие же. Целый микрорайон. Еще всякие провода. И только далеко, в нескольких километрах, новый жилой комплекс: высокие белые дома с большими окнами – в таких, наверное, даже зимой не приходится днем зажигать свет. Сейчас пасмурно, и они видятся такими же грязными, как и все остальное. Но в хороший день, вечером, под низким солнцем, их стены кажутся нежно-розовыми – будто бы сам камень светится изнутри, как редкостный мрамор. Иногда я нарочно подгадываю час и забегая к Элке, чтобы полюбоваться этим из окна у нее на кухне.

Зато с другой стороны дома – так близко, что различаешь фактуру поверхности, – висится здоровенная труба, раскрашенная белым и красным. То есть белым она не крашена – за белое собственный цвет бетона, а вот по нему наведены через равные промежутки широкие бордовые кольца. Еще в детстве я вычитал в журнале «Наука и жизнь», что означает подобная разметка: никакого особенного дерьма, значит, эта труба в воздух не выбрасывает, а только горячий водяной пар. Вот если бы была она, скажем, желтая с синим – тогда да, тогда близко лучше не подходи. Хотя пар, по-моему, тоже гадость порядочная. Было время, я жил на окраине, а работал неподалеку от Киевского вокзала, на другой стороне реки, так что каждое утро шагал пешком через тот мост, где на обелисках фамилии героев восьмьсот двенадцатого года. Это особенно зимой было заметно. Утром выходишь из дома: морозец, небо синее, снег сверкает! А доберешься до моста, помотришь с него – и трубы кругом, и все, что из них валит, прямо на глазах сливается в сплошную хмурию, так что нет уже и помина о дне чудесном, а только серость обыкновенная и сажа.

Но все равно: я люблю трубы. Наверное, я только две вещи по-настоящему и люблю – трубы и железные дороги. Дороги-то еще в детстве меня заворожили, всем своим адовым красно-черным (успел, застал закат паровозной эры!) клублением дымов, разноцветными огнями на ночных станциях, бесконечным перетеканием линий друг в друга на больших узлах – на зависть Визарелли. Для меня и до сих пор нет большего наслаждения, чем простоять вечер и ночь в самом последнем тамбуре поезда, смотреть назад, где все это вьется,

перемигивается, сплетается и расплетается, исчезает и возникает опять. Но главное – запах! Причем даже не тот, густой, что поднимается от шпал в знойный день, когда солнце плавит в них смолу, но ровный, вечерний, каким все пропитано вокруг любого пути – даже одинокого, заросшего, заброшенного где-нибудь в поле или в карьере.

А вот трубы – сам не знаю за что. Есть в них какая-то тайна. Например, мне никогда не удалось подсмотреть, как их строят. Ведь не представишь себе подъемный кран такой высоты. И если предположить, что составляются они из больших бетонных колец, то понадобился бы по меньшей мере вертолет, чтобы поднимать такие кольца наверх и ставить их друг на друга. Но кто видел когда-нибудь грузовые вертолеты над Москвой? Другое дело, если их складывают из обычного кирпича, а потом штукатурят поперх. Тогда, по мере того как труба растет вверх, можно было бы устраивать специальные подъемники для материала. Но это на много недель работа. Я же ни разу в жизни не встречал недостроенной трубы. И вполне готов поверить поэтому, что их попросту привозят под покровом ночи уже готовыми на каких-то грандиозных машинах, а потом не менее грандиозными домкратами устанавливают за пару часов в нужном месте.

– Слушай, – спрашиваю я у Макарова, – это правда, что из глубокой шахты можно днем увидеть звезды?

– Само собой, – говорит Макаров.

– Почему – само собой? Это, по-моему, вовсе не само собой, а достаточно как раз удивительно.

– Удивительного тут ни на грош, – заявляет Макаров, а я в очередной раз крещу его мысленно позитивистом. – Если ты смотришь на небо с открытого места, то в глаза тебе светит весь купол целиком, да еще солнце, прямые лучи, – и все это блеск звезд, соответственно, застит. А в шахту свет попадает только от маленького участка неба, который над ней. И солнца нет. Вот и получается. Понял, Фофанов?

Моя фамилия не Фофанов, но это одна из макаровских поговорок.

– А из трубы? – спрашиваю я. – Вот из этой, скажем, трубы – тоже будет видно?

– Естественно. Какая разница?

– Ничего себе – какая разница! – смеется Элка. – Труба и шахта! Это, извините, вещи прямо противоположные. Просто как мальчик и девочка.

– Да ну тебя, – говорит Макаров, – я ему серьезно объясняю...

– Едет! – сказал Терентьев.

Мы бросаемся к парпету. Но Элка говорит: не он. Фары не те.

– Как это?

– Тут квадратные. А у него круглые и по две...

У Элкиного репортера голубые «жигули». На них он катает Элку по Москве и за город. И при случае, конечно, откидывает назад сиденья. Репортеру года, наверное, двадцать четыре. А Элке тридцать. А мне, например, тридцать два – но это тут ни при чем. Но сохранилась Элка отлично. У нее, между прочим, совершенной формы грудь. К тому же и жизнь ее научила кое-чему. Так что юноша нисколько не прогадал, выбирая.

– Ну я ему покажу, – говорит Элка.

– Скорее наоборот, – говорит Терентьев.

– Что – наоборот?

– Не покажешь.

– Может, обойдемся без хамства?

– А на кой хрен ты нам все это устроила? – спросил Терентьев.

– Ну, я же не знала... А потом, вы спокойно могли отказаться.

– Вообще-то я и сам об этом много думал, – сказал Макаров. – У меня даже проект имеется – для ООН или ЮНЕСКО. Рано или поздно шахтное расположение стратегических

ракет все равно морально устареет. Тогда в эти шахты можно установить зеркала для телескопов. Получится всемирная наблюдательная система. Многоэлементная и с большим разрешением.

Я поинтересовался, как он собирается направлять такой телескоп в нужную точку.

– А где она, нужная точка? – сказал Макаров. – Будут сканировать небо – Земля-то вертится. Пускай Вселенная поделится кое-какими из своих тайн. Терентьич, у тебя телескоп когда-нибудь был?

Терентьев ответил взглядом – совершенно затравленным.

– Вот и у меня не было. А ведь хотел купить пару лет назад. Школьный, но приличный. Рефлектор. Так денег пожалел. Чурка!

Как-то мне все это странно. Я знаю, что единственная книга, какую Макаров прочел по астрономическим делам, – все те же «Звезды», с которых все и начиналось вчера. И даже вторую, которую я дал ему уже давно – «Вселенная, жизнь, разум», – не открывал пока. И вряд ли откроет.

– Надоело, – сказала Элка. – Преклонение перед абстрактной бесконечностью, околдованность астрономическими масштабами и любовь к мертвой природе отдают, знаете ли, дешевым пижонством. Человек мыслящий вглядывается в малое и ищет неизреченное рядом. Над тайной жизни в первую очередь задумывается, над ее вездесущностью, постоянством, воспроизводством. Вы бы лучше в обыкновенном зачатии попробовали что-нибудь понять! Да-да, в зачатии – и нечего лыбиться! Что это, как это? Да ты на траве когда-нибудь лежал, человек асфальта?! А там, между прочим, в почве, любая крупинка вся кишит прямо: жучки, червячки, букашки, какая-то мелочь, вообще уже не различимая... Вот они, масштабы, вот тебе галактики, вот любые созвездия... Но им мало, видите ли! Им мертвый огонь подавай, да еще далекий настолько, что недостижим в принципе! Тем более, если не ошибаюсь, он и горел-то сотни миллионов лет назад, а теперь, может, и вовсе не существует. Пустое место!

– Кстати, – сказал Макаров, – микроскоп я тоже не купил. Сам не понимаю почему. Сказать смешно, какие он копейки стоил.

– Во-первых, – внес трезвую ноту Терентьев, – ничего этого в микроскоп не видно. Видны в него в лучшем случае амебы, клетки и срезы волос. Во-вторых, насчет того, что и когда светило, – это самый сложный философский вопрос, связанный с никем еще толком не осмысленными категориями пространства и времени. А потом, какое тебе, поэту, дело до букашек, которые где-то там кишат? Ты зреть обязана в суть человеческую!

– Дурак! – говорит Элка. – А в кого, по-твоему, мы все превратимся? Сперва – в землю. Потом – в них как раз, которые из земли происходят.

Терентьев задумался, отразил очками трубу. Потом кивнул головой:

– А что... Я, пожалуй, согласен. В жука. Пожарника. Или нет – в майского.

– В шмеля, – сказал я.

– Ну а я, наверное, – сказала Элка, – в муху. Дрозофилу. Идет?

– А почему не в бабочку? – спросил Терентьев.

– Действительно, – сказала Элка, – почему не в бабочку?

– У вас, ребята, – засмеялся Макаров, – нелады с семантикой. Жуки, между прочим, тоже бывают полу мужского и женского. И мухи.

– Дудки, – говорит Элка, – они все гермафродиты.

На крыше соседнего дома двое мужиков в тусклой одежде вязали веревку к основанию телеантенны. Другой конец веревки сполз с крыши и свисал на чей-то балкон. Потом один достал неразличимый отсюда, но, видимо, режущий инструмент, попробовал его на жестяном колпаке над вентиляционным выходом, и до нас долетел душераздирающий скрежет.

– Бр-р, – поежился Макаров, – прямо мороз по спине.

– Домушники, – констатировал Терентьев тоном человека, выстрадавшего запанибратство со всеми вещами мира.

– Если они нас увидят, – сказала Элка, – они могут в нас выстрелить. Потому что мы для них представляем опасность. Как интересно! Я, наверное, впервые в жизни представляю для кого-то опасность.

– Ну да! – усомнился Терентьев. – А для многочисленных жен?

– Это не считается.

Но я к Элкиным словам все-таки прислушался и настоял на том, чтобы спрятаться за чердачную будочку. Тут мы и уселись, плечом к плечу, все четверо. Теплее не стало. Прямо перед нами оказалось теперь вытяжное отверстие, из которого устойчиво пахло позавчерашним супом.

– А вот с моим братом, – сказал Терентьев, – с родным братом, случилась такая история. Род его занятий состоял в том, чтобы обследовать только что выселенные дома и собирать там всякие интересные вещи, оставленные жильцами. Попадались антикварная мебель, картины – у нас, например, дома до сих пор подлинный Верещагин висит, – книги, даже медали и деньги старинные. Работал брат с приятелем, который был шофером на автобазе, так что удавалось использовать служебный грузовичок. Все у них было отлично налажено; брат даже роман крутил с дамочкой из Моссовета, секретаршей в том именно отделе, где отвечали за выселение, ремонт или снос старых домов в центре. Так что сроки и адреса им становились известны заранее. Основной же задачей было опередить дворника. Естественно, опередить его совсем – невозможно. Но дворник чаще всего в этих делах не специалист и по первому разу забирает только то, что самому приглянулось: пустые бутылки, пепельницу, может, какую, если найдет, мебель, которая поцелее. Но зато, если позволить ему прийти во второй раз и в третий, тогда он либо сам вынесет все без остатка на предмет хоть по дешевке – да продать, либо отыщет такую же, как у брата, конкурирующую частную фирму. Так что попасть в дом необходимо было точно между первой и второй дворничьими инспекциями. И вот однажды брат обнаружил в одном таком доме замечательный ампирный буфет. Эдакого мастодонта – больше двух метров высотой. В новой квартире, куда переехали хозяева, он, по-видимому, просто не мог бы уместиться. Буфет требовал некоторой реставрации, но даже в таком виде был шанс прилично на нем заработать. Брат прикинул и решил, что вдвоем, пожалуй, если поднатужиться, вытащить они его оттуда сумеют, тем более что парадная лестница по ширине была прямо-таки дворцовой. Сбегал в телефонную будку, вызвал подельщика с машиной – тот ставил ее не в гараже, а возле дома, так что и по ночам она оставалась в их распоряжении, – потом вернулся назад. И тут видит, как из дверей возникает дворник, а с ним интеллигентного вида мужик. Они стоят, о чем-то договариваются и наконец бьют по рукам. Дворник достает здоровенный замок и вешает его на дверь подъезда. Брат понимает, что дворник на этот раз попался не промах и успел уже буфет запродать; мужик же, надо думать, отправился за подмогой и скоро придет забирать. Следовательно, требовалось спешить. Подъезжает напарник, и они вместе бросаются искать черный ход. Этого конкуренты действительно не предусмотрели – там только на щеколду было закрыто. Не буду описывать, с какими страшными трудностями спускают они негабаритный совершенно буфет по узенькой черной лестнице. А внизу выясняется, что дворник уже исправил ошибку: щеколда снова задвинута с той стороны. То ли не знал, что они внутри, то ли решил один с двоими не связываться, а предпочел дожидаться, пока явится с грузчиками покупатель. Что делать? Только дверь ломать. Они ведь набор инструментов брали с собой, и в нем был маленький топорик. А дверь массивная, старая – из дуба, наверное, сделана. Крушить ее – дело долгое и шумное. Поскольку происходит все, как я уже говорил, поздним вечером, соседи напротив вызывают на этот шум милицию. Но именно в это время и именно в доме напротив воры грабят квартиру на первом этаже. Дальше все происходит в таком

порядке: брат наконец-то пробивает в двери дыру и отодвигает щеколду. В это же время ничего не подозревающие воры начинают вылезать из окна. А в следующую секунду во двор влетает милицейская машина, и довольные милиционеры, забыв, естественно, о причине вызова, вяжут растерявшихся жуликов и ведут в воронок. Брат с приятелем подхватывают свой буфет и со всех ног – за угол, к машине. Все. Конец истории.

– Это ты все сочинил, – говорит Макаров после паузы.

– Почему – сочинил?

– Потому что ты не можешь знать в этой ситуации, кто, когда и зачем вызвал милицию.

И потом, по ночам квартиры никто не грабит – это только внимание к себе привлекать.

– Да? – Терентьев почесал в затылке. – Ну да. Верно. Только сочинял не я. Так рассказали.

– Еще хуже, – сказал Макаров.

Элке мы опять надоели.

– Господи, – сказала она, – как же холодно все-таки! Я бы прямо шубу сейчас напялила.

Макаров сразу насторожился и буркнул:

– Натуральную?

– А то!

– Ну, раз «а то!» – значит, с бабочкой ничего не получится.

– С чем не получится?

– Даже с мухой не получится.

– А... Не вижу связи.

– И зря. Скажи, вот самый дешевый мех – какой?

– Кошкодавленный, – сказала Элка.

– Ну, это ладно – не в счет. И кролик не в счет. Кроме.

– Еще белка.

– Белка подходит. Но у нее хотя бы хвост длинный. А вот помнишь, раньше был еще один – шиншилловый?

– Помню, помню, – вздохнула Элка. – Я только не понимаю...

– Я тоже не понимал, – вздохнул Макаров, – пока однажды своими глазами эту самую шиншиллу не увидел. Она – во размером, с кулак. И на полупердик, который едва прикроет тебе задницу, таких зверушек нужно не меньше, наверное, полусотни. Не кажется тебе безнравственным такое соотношение?

Элка наконец взвыла:

– Ску-у-учно ка-а-ак! И обыкновенно. Скоро вообще никого не останется, одни моралисты. Ты лучше подумай, почему все эти благородные веяния происходят, как правило, из тех мест, где в декабре вовсю распускаются цветочки. Просто оттуда кажется, что прохаживаться зимой в маечке – это изысканное удовольствие.

– От холода, между прочим, искусственный мех спасает ничуть не хуже.

– А производство синтетики, – говорит Элка, – отравляет, между прочим, атмосферу. И океаны. Затрудняет произрастание леса. И почему это, кстати, кошек – можно, а крыс каких-то – нет? Кошки чем хуже?

– Любое производство отравляет атмосферу, – сказал Макаров. – Человечишко мерзопакостный вообще все отравляет, за что бы ни взялся и на что бы ни положил глаз. И я не говорил, что кошки – хуже... То есть я не говорил, что кошек – можно: все свидетели. Я только приводил более наглядный пример. А тебе, с твоими взглядами!.. Элементарная справедливость требует, чтобы оказалась ты в шкуре какой-нибудь выдры. А еще точнее – без шкуры. Вообще, на что ты надеешься?!

– Не знаю, – сказала Элка, – наверное, он уже не придет.

– На что вообще может надеяться человечество, – закричал Макаров, – когда оно по уши в крови и в дерьме?!!

– Да брось ты, – отмахнулась Элка. – Мы что – тоже?

Я посмотрел за угол. Люди на соседней крыше колдовали над поваленной антенной, орудуя карикатурно большим гаечным ключом, – ремонтировали.

– Гляньте, – сказал я.

Все по очереди поглядели.

– О-ох, пустота бытия, – сказал Терентьев.

И мы опять долго молчали. Пока Элка не попыталась сделать шаг к примирению.

– Ну ладно, ребята, – сказала она, – вы на меня не обижайтесь. Я все поняла: шубы от вас не дожدهмся. Время сколько?

– А сколько ты хочешь? – спросил Терентьев.

Но было ясно уже, что время – уходит.

– А чего мы, собственно, ждем? – спросил Макаров.

– Девяти часов, – говорит Элка. – Я сказала, что записалась на бухгалтерские курсы.

И что занятия до полдевятого.

– Ты что, смеешься?! – сказал Терентьев. – Еще шести нет!

Элка горестно покачала головой:

– Нету!

– Так, может, все-таки спустимся? По-моему, пора уже того – по ликерчику.

– Что выпивка на холоде согревает, – сказал Макаров, – чистой воды миф. Другое дело, если выпить в тепле, а потом выйти на мороз – тогда действительно. Или наоборот: сначала ходить по морозу, а потом выпить в тепле.

Я опять посмотрел за угол. Антенна стояла уже вертикально, мужики поднимали с надсадом и навешивали на ее станину чугунные блины – для устойчивости.

– Не могу, – говорит Элка. – Вы же не знаете эту старую каргу! Она спит и видит, как бы освободить от меня своего сыночка, а заодно и жилплощадь. Часами у окна караулит, мечтает на чем-нибудь меня подловить. А тут – нате! Сразу с тремя. Подарок. Так что вы идите, пожалуйста. А я еще посижу.

– По одному ведь можно, – предложил Терентьев.

– Все равно. Как ей объяснишь потом, что я здесь делала?

– И никакого выхода?

Тогда мы дружно повернули головы в сторону пожарной лестницы.

Дом у Элки какой-то странный: лестница спускается по глухой торцевой стене. Интересно, кому предлагается ею воспользоваться, если действительно загорится, – котам?

– Ну и вперед, – говорит Терентьев. – Мы тебя внизу подождем.

– Да вы что? – испугалась Элка. – Я боюсь... Ну, одна – боюсь.

Терентьев распустил изуверскую улыбку.

– Ладно, шутка. Никто тебя одну и не заставляет.

И когда он первым направился туда, где полотно лестницы подымалось на полметра над крышей, изящной дугой заворачиваясь на конце, когда и Макаров потянулся уже за ним, я слишком отчетливо почувствовал, что здесь что-то не так, что-то не сходится. Я сказал:

– Постой, Элка, погоди! У тебя ведь окна на другую сторону смотрят! Никто бы не заметил, как мы из подъезда выходим!

Но она только расхохоталась в ответ, она так увлечена была своими какими-то соображениями, что промахнулась сперва мимо ступеньки и поставила туфлю на темя не успевшему спуститься далеко Макарову. Какой тут выбор – я лезу следом. Вроде бы и раньше меня ничто не защищало – но тут ветер с особенной яростью набрасывается, бьет в лицо, не позволяет смотреть. Первую минуту я спускаюсь совсем вслепую. А когда наконец откры-

ваю глаза – вижу, что порядком уже от Элки отстал, вижу еще фигуры внизу: несколько человек уже выстроились на тротуаре, задрали головы, наблюдают. Мне понятен их интерес: ветер щедро, широко раздувает Элкину юбку. Потом глаз отмечает быстрый отблеск в окне напротив – там еще один, высунувшись из-за занавески, наводит на резкость монокуляр. А лестница раскачивается под нашим весом, и крючья ее подозрительно свободно ходят туда-сюда в панели, угрожая скорым отрывом, – сверху вниз, как в американских кинокомедиях. Я спрашиваю себя, на что надеюсь больше: что это прямо сейчас и произойдет или что и на этот раз ничего не случится. Делается весело от таких мыслей. А в памяти всплывает неизвестно откуда: «О, ленивый Варламе, готовься к ранам, близ есть конец!» «Варламе! – кричу я, – эй, Элка, почему Варламе?!» Вряд ли она может различить слова. Она просто задирает голову на мой голос, находит меня глазами и хохочет еще залиvistее. И тогда я вижу всех нас как бы в объективе того маньяка за занавеской. И понимаю, что Элка добилась, чего хотела: сделала нас на несколько минут именно теми, кем до поры нам и предстоит быть. Просто четыре человека на фоне стены. Я машу Элке рукой и чувствую, как просыпается во мне Голос. Вообще-то это приятное ощущение, но жаль, что я знаю наперед все, о чем он способен сказать: «А что то царствие небесное? Что то второе пришествие? А что то воскресение мертвым? Ничего того несть! Умерл кто, ин то умер, по та места и был!» Уже очень давно я сочинил ему ответ. И столько потом мусолил эту фразу, так оттачивал ее, что превратил в настоящее заклинание. Вроде бы только и дел теперь, что произнести с нужной уверенностью: мол, если, оглядывая небо над собой, обнаружишь его пусто, подумай, не призван ли ныне твой ангел в небесное воинство. Но я пытаюсь – в тысячный, наверное, раз – и опять не могу. И опять остается только твердить себе, что говорить о том – пулно. Что в день века познано будет всеми.

Потерпим до тех мест.

Известь

Порой эта война заставляла штабс-капитана Лампе вспоминать цветные картонные вклады в шоколад: «Кругосветное путешествие Ани и Вани».

Будто бы треть мира только и ждала срока, чтобы ринуться перемешиваться, убивать и гибнуть в хаосе русской смуты. Корейцы у большевиков, таинственно-жестокие, кромсающие после боя ножами лица убитым врагам; здесь – китайский отряд, почти механические солдаты, способные равнодушно умирать в назначенном месте. Еще – неведомо где набранные Корниловым разноцветные персы, еще – текинцы личной охраны генерала; командование соседней ротой принимал недавно знакомый Лампе еще по австрийскому фронту штабс-капитан Чичуа – грузинский князь. Чехи, румыны, казаки любых мастей – с ноября семнадцатого при неизменном заднике стыллой, заснеженной степи все они прошли перед Лампе словно страницы этнографического труда.

Но нукеры, с которыми пришлось столкнуться сегодня, даже привычного Лампе заставили испытать удивление, граничащее с ужасом. Когда все закончилось, он вернулся, чтобы рассмотреть трупы. Низкорослые, с обмотанными цветным тряпьем бритыми головами и грубо кованными, загнутыми на концах саблями. Огнестрельного оружия не было. Лампе сказал про себя: хазары!

Он думал: никто из нас не знает главного – чем притягивают большевики на свою сторону подобных этим. Что сумели их главари (представлявшиеся ему некими смутными полутенями-полусилуэтами) передать по долгой цепи вниз, чтобы поднять и отправить под пули за свою власть и свои идеи тех, кому не могло быть дела ни до этих идей, ни до перипетий слишком далекой власти? Ведь не совместишь такую первобытность с миром общественных утопий и политической борьбы. Что это – солидарность дикости? Или притяжение обожествленного насилия? Не исключено, впрочем, что попросту платят золотом.

Один из них, безнадежно раненный в живот, согнулся на красном снегу и скалил зубы в сторону штабс-капитана. От злобы или от боли – на этом лице не понять. Лампе подумал: не выстрелить ли? – но не решился, ибо неизвестно было отношение этого дикаря к смерти, и оттого вышло бы действие, по-бесовски лишённое сущности: ни жестокость, ни избавление.

В станицу, уже занятую юнкерами, входили группами, без строя. На углу, у церковки, человек двадцать пленных испуганно жались к стене. Голос подпоручика Закревского взлетел и сорвался, не осилив фразы:

– Смотрите, господа! Тулупы... Их мать!

– Пан! Пан! – лепетали пленные. – Не стрелял! Работать!

Сопровождавший их молоденький юнкер пытался объяснить:

– Это австрийцы. Еще с Юго-Западного. Работали здесь.

– Какого черта! Тулупы и валенки! Полроты можно одеть!

Австрийцев окружили. Оттеснив юнкера, Закревский сдернул с плеча винтовку.

– Господа, помогите мне! У кого негодная обувь...

Еще несколько винтовок опустилось вниз.

– Раздевайтесь, все! – приказал подпоручик и повел стволом. – Ну, живее!

– Но как же, – запротестовал юнкер. – Приказано в штаб. Восемь верст.

– Ничего, доберутся. Если уж сюда добрались...

Почувяв смертный ветер, немчины теснее прижимались друг к другу. Тот, что был выше других, быстро тараторил что-то и умоляюще заламывал руки. Выглядело театрально, даже смешно. Закревский тряхнул его несколько раз за ворот, выпрастывая из тулупа. Остальные, уразумев, что от них требуется, торопливо снимали свои и протягивали вперед, улыбаясь с робкой надеждой.

– Валенки, валенки давай тоже! – крикнули из толпы.

Где-то за их головами юнкер узрел подмогу.

– Господин полковник! Здесь...

...Теперь, вытянувшись в чистенькой вдовьей хате на широкой, постланной мехом лавке, Лампе в подробностях вспоминал сцену и тем, как держал себя, остался в результате доволен. Привычка оглядываться – тем более задним числом – на то, как смотришься со стороны, есть качество школярское, но Лампе словно играл с собой, получая удовольствие от самого осознания этого школярства, ибо научился за три года фронта пониманию, что даже игра в нечто довоенное становится здесь ценнее многого, может быть – всего...

Полковник врехался на лошади в толпу корниловцев – черно-красные и серебряные погоны раздались в стороны.

– Прекратить! Подпоручик, прекратите немедленно!

Штабной полковник, артиллерист. Лампе и фамилии его не знал. Белый конь. И адъютант в наличии, гарцует чуть позади.

– Штабс-капитан! Извольте приказать своим людям...

Лампе опустил глаза. Сапоги у полковника сияюще-новенькие, наверняка с мехом внутри. У Закревского хотя и целые (многие завидуют), но летние, тонкие. Обе ступни обморожены под Чалтырью. Но об этом, само собой, артиллерийский полковник знать не обязан.

Еще на прошлой, такой обыкновенной, войне, где врага определяла всего лишь речь, Лампе научился оставаться равнодушным к подобного рода несоответствиям. Не то чтобы смирился, не считал уже, что нравственного оправдания такому положению вещей нет и быть не может, – просто понял, что причины его слишком ясны, чтобы заставлять мысль постоянно на них спотыкаться, и обуздал эмоции грубой рациональностью, к нравственности не имеющей отношения. Но сегодня, оттого, быть может, что в глубине души он никак не мог простить себе пережитого в недавнем бою страха, злость прорвалась, выплеснулась за барьеры, которые обычно он ставил ей так умело, и искала выхода.

Лампе пожал плечами.

– Мне, господин полковник, завтра с ними в цепь идти. Так что – не считаю возможным. Извольте сами, если...

Остановился, проверяя, в силах ли сдержаться. Вполне.

– ...если достанет наглости.

Даже лошадь под полковником замерла. Но самый чопорный генерал и то будет знать, если нюхал порох вплотную, что человек, только что вышедший из боя, заключен в кокон особого пространства, где дозволено куда больше, чем в повседневности. К тому же оценивающий взгляд Лампе полковник перехватил. Потому, должно быть, в конце концов только и процедил сквозь зубы, для ушей штабс-капитана единственно:

– Корниловские любимчики! Я доложу, сегодня же...

Лампе козырнул и назвал себя.

Станицу брали с трех сторон, большевики отступали в направлении корниловского полка, и по домам в результате устраиваться корниловцам пришлось последними, напрашиваясь на свободные места. Лампе, слонявшегося от хаты к хате, пригласил к себе незнакомый поручик юнкерского батальона. Гостеприимства хозяйки достало только на чугунок вареной картошки. С тех пор как с едой было покончено, юнкер, по наблюдениям Лампе, начинал уже третье письмо.

Всем здесь было понятно, что отсылать – бессмысленно. И все же писали многие: кто душу так себе лечил, кто рассчитывал все-таки на оказию. Не в Москву, конечно, не в Петербург (патриотизма Лампе так и не хватило, чтобы принять вместо этого строгого имени города своего детства славянский эрзац-синоним) – туда письмо могло бы добраться разве что вместе со всей армией; но в Киев, в Харьков, в Пензу куда-нибудь – чем черт не